



Э. Ф. ГОЛЛЕРБАХ

Последние дни Розанова

(к 4-й годовщине смерти)

«В огне и холоде тревог» промелькнули четыре года, отделяющие меня от того изгрызанного тоской дня, когда я получил от Н. А. Бердяева письмо с извещением о смерти В. В. Розанова: «Умер Розанов. Ужасно, что негде даже написать о нем».

С тех пор прошло четыре года, но, кажется, и теперь — написать о Розанове негде. Во всяком случае, негде написать о нем *до конца*, написать все, что хочется, все, что нужно. Я очень люблю «Литературное приложение» к «Накануне» и почитаю его руководителя¹, но уверен, что и он при всем желании не мог бы напечатать о Розанове полную правду, т. е. правду в том смысле, в каком понимал ее сам Розанов — смысле окончательного самообличения. Недаром же М. А. Кузмин, взявший у меня одно из писем Розанова для своего «Абраксаса»², вынужден был отказаться от его печатания («страшно», по его словам).

Если даже Кузмин, находящийся, подобно Розанову, в сладком неведении, через «ѣ» или через «е» пишется слово «нравственность», обнаружил стыдливую робость, то чего же ждать от других?

Не удивительно, что «Сполохи» (издат. Гутнов)³, полгода тому назад забравшие у меня письма Розанова и даже предупредительно приславшие через *Lüftpost* * корректуру, до сих пор не удосуживаются тиснуть эту злосчастную книжицу.

Все это, впрочем, дела домашние, о которых просто неприлично говорить в газетной статье, и я никогда не решился бы на такую бестактность, если бы, подобно моему гениальному учителю, не чувствовал литературу «как свои штаны».

* авиапочта (нем.).

Пусть блюстители приличия, в свое время остервенело травившие Розанова на столбцах кадетских газет, говорят о «развязности» и «дурном тоне». Мы знаем (В. В. все слышит, сочувственно улыбается и кивает мне головой), что бывает цинизм от страдания, и знаем, что где-то там, за серыми туманами, — розовые зори в земном небе, радость примирения, любовь без конца. Здесь — все не то, все не так, здесь мы рождаемся с болью («с болью я родился» — в «Уединенном»), с болью живем, с болью умираем, здесь мы томимся в тесной тюрьме, кое-как учимся, кое-как влюбляемся, кое-как влачим крестную ношу, не напрасно веруя, что есть

«Где-то там, за синей далью
Берег вечного веселья,
Незнакомые с печалью
Гесперидовы сады» (Брюсов)⁴.

Это влечение к несбывшейся отчизне звучало в предсмертном Розанове как лейтмотив, как доминанта. Судьба не палкой загнала его в сад смерти, а увлекла любовно и нежно. И разве страшен этот сад? — «Там густа и высока трава, там большие белые звезды, цикуты, и всю ночь там поет соловей. Всю ночь там поет соловей, а сверху глядит холодная хрустальная луна, и тисовое дерево простирает свои исполинские руки над спящими» (Уайльд)⁵. Не страшна смерть, но страшно предсмертное томление.

Жестокие муки испытал Розанов на пути в сад смерти. Вот его последние мысли, записанные Н. В. Розановой:

ПОСЛЕДНИЕ МЫСЛИ РОЗАНОВА *

«От лучинки к лучинке, Надя, опять зажигай лучинку, скорей, некогда ждать, сейчас потухнет. Пока она горит, мы напишем еще на рубль.

Что такое сейчас Розанов?

Странное дело, что эти кости, такими ужасными углами поднимающиеся под тупым углом одна к другой, действительно говорят об образе всякого умирающего. Говорят именно фигурой, именно своими ужасными изломами. Все криво, все не гибко, все высохло. Мозга очевидно нет, жалкие тряпки, тряпки, тела.

* Продиктованы В. В. Розановым его дочери Надежде в декабре 1918 г., за месяц до смерти.

Я думаю, даже для физиолога важно внутреннее ощущение так называемого внутреннего мозгового удара тела. Вот оно: тело покрывается каким-то странным выпотом, который нельзя иначе сравнить ни с чем, как с мертвой водой. Она переполняет все существо человека до последних тканей. И это есть именно мертвая вода, а не живая. Убийственная своей мертвечиной. Дрожание и озноб внутренний не поддаются ничему ощущаемому. Ткани тела кажутся опущенными в холодную лютую воду. И никакой надежды согреться. Все раскаленное, горячее представляется каким-то неизреченным блаженством, совершенно недоступным смертному и судьбе смертного. Поэтому “ад” или пламя не представляют ничего грозного, а скорее желанное. Это все для согревания, а согревание только и желаемо. Ткань тела, эти мотающиеся тряпки и представляются не в целом, а в каких-то безумных подробностях, отвратительных и смешных, размоченными в воде адского холода. И кажется, кроме озноба ничего в природе не существует. Поэтому умирание, по крайней мере, от удара — представляет собою зрелище совершенно иное, чем обыкновенно думается. Это холод, холод и холод, мертвый холод и больше ничего.

Кроме того, все тело представляется каким-то надтреснутым, состоящим из мелких раздробленных лучинок, где каждая представляется трущей и раздражающею остальные. Все вообще представляет изломы, трение и страдание.

Состояние духа — ego * — никакого. Потому что и духа нет. Есть только материя изможденная, похожая на тряпку, наброшенную на какие-то крючки.

До завтра.

Ничто физиологическое на ум не приходит. Хотя странным образом тело так изнеможено, что духовного тоже ничего не приходит на ум. Адская мука — вот она налицо. В этой мертвой воде, в этой растворенности всех тканей тела в ней. Это черные воды Стикса, воистину узнаю их образ».

В. Розанов.

Но, несмотря на тяжкие страдания, перед самой смертью душа Розанова озарилась необычайным горением. Огромный сдвиг произошел в нем, огромный подъем. Для меня не было ничего неожиданного в том, что Розанов умер христианином, умер вполне «православно». Он всегда утверждал, что религия есть самое важное, самое нужное, что жить без нее невозможно и никакую

* я (лат.).

философию вне религии построить нельзя. Вопрос только о *формах*; и вполне естественно, что для умирающего Розанова православию, вера его предков, вера его семьи и друзей стала единственно-возможной формой религиозного *действия*. А бездействовать (религиозно) в минуты умирания — невозможно. Наконец, — как забыть, как уйти от себя человеку, душа которого сплетена «из грязи, нежности, грусти»?

«Я прожил гнусную жизнь, — говорит Хомутов в “Кукушких слезах” гр. А. Н. Толстого, — я малодушный, ничтожный человек. Но нужно, чтобы конец этой муки был прекрасный и торжественный, как удар колокола». Конец Розанова был именно таков, но никто этого не понял.

Критик Г. сказал мне однажды о Розанове: «Жил он как курица и умер как курица» (т. е. малодушно, поджав хвост, примазавшись к Церкви).

Другой собеседник, проф. С., заметил возмущенно: «Непостижимо, как мог Розанов окунуться под конец жизни в самое банальное православие, в наибольшую церковность. Невероятная пошлость!»

На это Розанов мог бы ответить, что если в его жизни и была пошлость, она заключалась только в том, что он был писателем. Во всем же остальном эта жизнь была необычайна, и *необычен* в своей *обыкновенности* был ее конец.

Мне бесконечно жаль, что в своей книге о Розанове я недостаточно осветил его последние дни. И только недавно, перечитывая письма его дочери, я почувствовал, что необходимо это сделать — лучше поздно, чем никогда. Надеюсь, Н. В. Розанова не посетует на меня за выдержки из ее писем. Все «домашнее», «личное», «интимное» пропускаю.

«...Получили Вашу телеграмму и так глубоко и больно почувствовали Вашу близость. Да, как часто, часто вспоминал папа своего “милого Эриха”, как часто хотел видеть Вас, молча около Вас посидеть... И как все это кажется недавно... Два месяца он болел параличом. У него не действовала левая часть тела. Надо было одно усиленное питание, но его не было, достать было невозможно... Он все слабел, слабел. Последние дни я, 18-летняя, легко переносила его на руках, как малого ребенка. Он был тих, кроток. Страшная перемена произошла в нем, великий перелом и возрождение. Смерть его была чудная, радостная. Вся смерть его и его предсмертные дни была одна Осанна Христу. Я была с ним все время в дни его болезни и в его последние дни. Он говорил: “Как радостно, как хорошо. Отчего вокруг меня такая радость, скажите? Со мною происходят действительно чудеса, а

что за чудеса — расскажу потом, когда-нибудь”. “Обнимитесь вы все... Целуемся во имя воскресшего Христа. Христос воскрес!” Он 4 раза по собственному желанию причастился, 1 раз собо­ ровался, три раза над ним читали отходную. Во время нее он скончался. Он умер 23-го января ст. стиля, в среду, в 1 час дня. Без всяких мучений. Дыхание становилось все слабее, ему нача­ ла мешать слюна. Друзья, окружившие его, положили ему на голову пелену, снятую с мощей (изголовья) преп. Сергия, — слюна сразу перестала течь, он тихо, тихо уснул. Три раза улыбнулся, затем какая-то тень пробежала по лицу, будто ему было что-то горько, неприятно, почти физически, и он †. Его похоронили в монастыре Черниговской Божьей матери, рядом с любимым К. Н. Леонтьевым. И когда над могилой его служили панихиду, пели о “упокоении души новопреставленного Василия”, вместе с ним молились и о “упокоении души монаха Климента”⁷. Много страшно чудесного открылось в последние дни его, в смерти и в его погребении. Об этом после. Я пришлю Вам, когда спишу, все, что он диктовал мне во время болезни... «Да, воистину: “Посрамлю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну”. Та­ кой свет, такая радость была вокруг него. Такая светлая кончи­ на, такая Осанна Христу».

«Когда папу хоронили, день был ласковый, теплый, нежный... Как хорошо было бы, если бы Вы... приехали, пошли бы на мо­ гилу папы. Дорога через лес и поле. Лес сосновый, темный, на­ поминает пустыньку св. Серафима Саровского... Вы бы посидели над могилой его, как по-прежнему — молчали бы вдумчиво и в молчании говорили бы неутешно с ним».

(... — Говорю с ним всегда, и далекая могила в Сергиевом По­ саде — место моего всегдашнего паломничества).

«Посылаю Вам все, что диктовал мне папа. Письмо к Мереж­ ковскому (первое)⁸, писал с страшным надрывом, плакал о ве­ ликом холоде мира, какой хотел растопить бы...»

«...Он говорил, что знает, что умрет, но это радостно ему».

«В Москве повсюду ходит легенда, что папа прогнал покойно­ го брата Васю, который хотел стать красноармейцем, и кажется, что даже выгнал его из дома. Перед смертью же действительно причастился, но после сказал: “Дайте мне изображение Иего­ вы”. Его не оказалось. “Тогда дайте мне статую Озириса”. Ему подали и он поклонился Озирису... Это — евреи — Гершензон, Эфрос⁹ и др. Буквально всюду эта легенда. Из самых разнород­ ных кружков. И так быстро все облетело. Испугались, что папа во Христе умер, и перед смертью понял Его. И поклонился Ему. А как там у Вас приняли папину кончину?»

У нас приняли эту смерть вот как. В «Доме Литераторов», где обычно вывешивались известия о смерти самого маленького журналиста, на смерть Розанова не откликнулись ничем: никакого «вечера памяти», никакого доклада, даже панихиды не было. Не было, повторяю, даже извещения о смерти. Печать (как известно, «голос народа») не сочла нужным уделить внимание «презренному нововременцу».

Литературная братия в своем кругу перекинулась, как водится, кое-какими грязненькими анекдотами о Розанове.

Злословие с незапамятных времен составляет отличительную доблесть русского писателя. Вспомним вздох Блока (тоже достаточно страдавшего от злословия):

«Друг другу мы тайно враждебны,
Завистливы, глухи, чужды,
А как бы и жить, и работать,
Не зная извечной вражды»...¹⁰

Клевету и сплетню не будем, однако, смешивать с легендой.

Смерть большого писателя всегда порождает легенды и, в сущности, нет такой легенды, которая не имела бы внутреннего основания, хотя бы слабого подобия правды. В «легенде» Гершензона, Эфроса и пр. есть доля внутренней правды, хотя и лишенной внешнего основания. В ней есть вероятие и доля правдоподобия.

З. Н. Гиппиус вскоре после смерти Розанова передала мне от слова до слова рассказы про Иегову и Озириса, присоединила к нему еще Аписа, Изиду и Астарту. Такое обилие богов повергло меня в смущение, и я пытался протестовать, ссылаясь на свидетельства Над<ежды> Вас<ильевны> Розановой.

Но с женщиной спорить, разумеется, бесполезно, особенно со столь энергичной, как пленительная З. Н. Гиппиус, о которой покойный Розанов говорил с восторгом и страхом: «Не женщина, а сущий черт».

Почитатели розановского иудаизма утверждают, что православное настроение Розанова было всецело подготовлено свящ. Флоренским. П. А. Флоренский действительно имел большое влияние на Розанова и старался укрепить его в православии, но я не допускаю и мысли, чтобы Флоренский мог бы «инсценировать христианскую кончину». Повторяю, *бессмысленных* легенд не существует. Поэтому не станем отвергать «гипотезу Гершензона-Эфроса», если даже она и лишена фактического основания. Но противоречие с самим собою (выразившееся в «христианской кончине») несравненно более похоже на Розанова, чем идейная последовательность.

Он жил «наперекор стихиям» и, подобно Уитмену, был «вместителен настолько, что совмещать умел противоречия»¹¹.

* * *

Царское Село — снежные сугробы за окном. Голубоватое сияние луны. Тишина — ненарушимая.

...Сергиев Посад. Пеленою снежною, глубоким безмолвием окутана далекая могила...

«Может быть, мы всю жизнь живем, чтобы *заслужить могилу*».

Оглядываюсь назад: мелкими шажками, шмыгающей своей походкой входит ко мне В<асилий> В<асильевич>. Мы целуемся, молча, без слов. Он садится в кресло, поджав под себя ногу, другой ногой трясет по своему обыкновению. Закуривает, жмурится от дыма. И говорит, как бывало:

«Пишите, пишите, но без “похвального слова”: откройте всю правду обо мне и свою собственную правду. Я счастлив, что мы нашли друг друга. Одни и те же песни без слов звучат в наших душах, и мы одни слышим и знаем, о чем поют эти песни»...

...За окном глубокая ночь. Тишина. Сугробы снега. Мы одни в целом мире. Не времени, нет пространства и близко долгожданное Утро.

